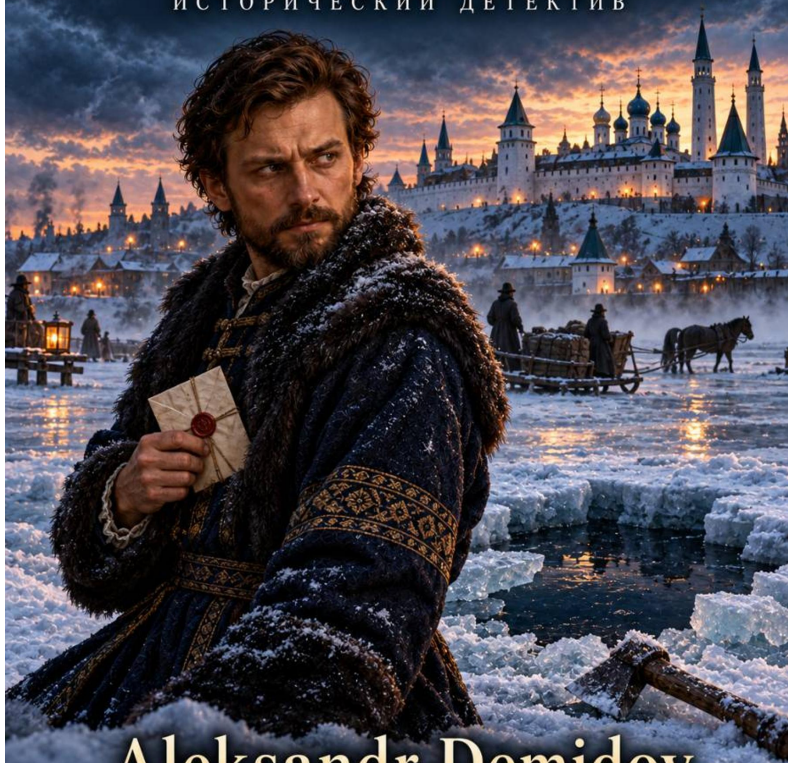


ПОДЪЯЧИЙ ЕРШОВ • КНИГА 4

ПИСАНО В КАЗАНИ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ



Aleksandr Demidov

Aleksandr Demidov

Писано в Казани

<https://litres.ru/74669553>

SelfPub; 2026

Аннотация

Казань, зима 1660 года. Из проруби вытаскивают тело ямщика Мацейко. Все готовы списать смерть на пьянство, но подьячий Тимофей Ершов замечает то, что не сходится: лёд рубили топором, сам топор исчез, а погибший незадолго до смерти отказался везти письма в Нижний.

Чтобы найти лазутчика, московский сыщик Пасынков запускает пять ложных вестей. Вскоре одна из них появляется в перехваченном польском письме. Значит, враг совсем близко — среди тех, кому Ершов доверяет.

Но первая же ложь самого Ершова отправляет под стражу невиновного. Теперь, чтобы исправить ошибку, ему придётся раскрыть женщину, которую он хотел спасти, позволить убийце выйти на лёд и решить, что важнее: государево дело, человеческая жизнь или правда, которую уже невозможно переписать.

«Писано в Казани» — четвёртый исторический детектив серии «Подьячий Ершов». Новый роман можно читать как самостоятельное расследование.

Содержание

Черновые листы	5
Шестьдесят три	15
Переводчица	26
Рядом с письмом	36
Лекарь	44
Под титлом	55
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Aleksandr Demidov

Писано в Казани

Александр Демидов

Писано

в Казани

Исторический детектив

Серия «Подьячий Ершов»

Книга четвёртая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Черновые листы

Листов набралось на мешок. Ершов не думал, что их столько. Он вынимал их из сундука пачками, перевязанными мочалом, и пачки были разные: весенние, тонкие, на дешёвой бумаге, которую он покупал у разносчика по десять денег за десть, и летние, толще, исписанные с обеих сторон, потому что бумага кончилась, а ехать за новой было некогда. Были листы, сложенные вчетверо, мятые, носившиеся за пазухой. Были листы с пятнами: от свечи, от квасу, один — от мёда, с Бакалды, и к этому листу до сих пор прилипала мелкая солома.

Акулина стояла над ним и смотрела, как он укладывает.

— Это всё ты написал?

— Я.

— За одну весну?

— За весну и за лето.

Акулина покачала головой.

— А я думала, ты по ночам молишься, — сказала она. — Свечи-то. — Она посмотрела на мешок. — Мешок мой не потеряй. Он из-под муки. Хороший.

Ибрагим ждал на крыльце. Он посмотрел на мешок, но ничего не спросил, и они пошли вдвоём к кремлю, по первому льду на лужах, который хрустел под ногами, как сухари. Было рано, ещё серо, и над Кабаном стоял туман.

В приказной избе было непривычно. Дьяк сидел не на своём месте, у печи, а у окна, где дуло, и был зол. На его месте, у печи, за его столом, сидел Пасынков. Перед ним горели две свечи, восковые, и лежали стопкой какие-то книги из ларей, и Ершов понял, что Пасынков сидит тут не первый час, может, и всю ночь.

— Свечи свои, — сказал Пасынков, не поднимая головы.
— Не бойся. — Он перевернул лист. — Принёс?

Ершов поставил мешок на лавку. Ибрагим остался у двери.

Пасынков поднял голову и посмотрел на Ибрагима.

— Это кто?

— Толмач, — сказал Ершов. — Ибрагим. Со мной ходит.

— Татарский?

— Татарский. Чувашский. Черемисский. Мордовский немного.

— А польский?

— Нет, — сказал Ибрагим сам.

Пасынков посмотрел на него ещё немного.

— Пусть подождёт, — сказал он Ершову. — На дворе.

Ибрагим вышел. Ершов видел через окно, как он сел на колоду у коновязи, достал из-за пазухи горсть орехов и стал щёлкать. Дьяк у окна тоже это видел и посмотрел на Ершова так, будто это Ершов придумал Пасынкова.

Пасынков развязал первую пачку.

Он читал не так, как читают дьяки. Дьяки читают сверху,

начало и конец, а середину берут на веру, потому что середина у всех одинаковая. Пасынков читал всё. Медленно, по строчке, иногда возвращаясь, и не шевелил губами, как губной, и не водил пальцем, как Ибрагим. Он просто смотрел на лист, пока лист не кончался, и потом клал его направо, лицом вниз, и брал следующий.

Ершов сидел на лавке напротив и смотрел, как его листы ложатся лицом вниз.

Это было странно. Он писал их для дела, для себя, для губного, а теперь их читал человек, которому не было дела ни до арзамасца, ни до водолива, ни до мёда в бочках. Человек, который искал в них не убийцу, а его, Ершова. Кто был рядом, когда он писал. Кто мог прочесть через плечо. Кому он сказал то, что потом написал.

Ершов вдруг стал вспоминать, что там, в этих листах, кроме дела.

— Это что? — сказал Пасынков.

Он повернул лист к Ершову и показал пальцем. На поле, сбоку, крупно, как он теперь писал, стояло: «Акулине за свечи — 4 деньги. Не забыть».

— Долг, — сказал Ершов.

— Отдал?

— Отдам.

Пасынков кивнул и положил лист налево. Налево он клал немного. Ершов не понимал, по какому порядку.

Дальше пошло медленнее. Пасынков дошёл до сличения

на струге и читал его долго, дважды, потом достал из-за пазухи свою бумагу, ту, что вчера держал в горнице у воеводы, развернул и положил рядом.

— Слушай, — сказал он. — Это из Посольского приказа перевод. Слово в слово, как в польском. — Он прочёл, ровно, без выражения: — «А у них же в Казани подьячий приезжий, тот, что у мельника меру поверял и что арзамасского человека с беглым сличал. Пишет всё, что слышит, и что написал, того не марает, хотя бы и против себя. Таких у них мало. От него держаться подале».

Он поднял глаза.

— Это тебя, — сказал он.

Ершов молчал.

— Держаться подале, — повторил Пасынков. — Тебя, Ершов, польский король боится. — Он подумал. — Ну, не король. Кто-то, кто королю пишет. — Он сложил бумагу. — У нас так не хвалят.

— Это не похвала.

— Это лучше похвалы, — сказал Пасынков. — Это опись. — Он положил бумагу обратно за пазуху. — «Хотя бы и против себя». Это откуда он знает? Что ты против себя не марал?

Ершов подумал.

— На струге. Я Фомкины слова записал, как он сказал. «Убью». Губной хотел, чтоб я не писал. Я написал. При всех.

— При всех — это при ком?

Ершов стал называть. Пасынков взял чистый лист, свой,

и стал записывать за ним. Губной. Дьячок губной. Кормщик Пахом. Рыжов. Гордей, покойный. Фома, теперь Никита. Ярыжки, сколько их было, человек двадцать. Аграфена Петровна, Кондратьева. Тихон, её приказчик. Люди на берегу.

— На берегу — сколько?

— Не считал.

— Плохо, — сказал Пасынков без упрёка, как говорят про погоду. Он посмотрел на список. — А мельник? Мельник тоже знает, что ты меру поверял.

— Мельник по-польски не пишет.

— Мельник не пишет, — согласился Пасынков. — А кому мельник сказал? — Он отложил перо. — Ты, Ершов, думаешь, что ищешь, кто писал. А ты ищи, кто слушал. Писать — это потом. Сперва слушать.

Он взял следующую пачку.

К полудню дьяк ушёл обедать, громко, так, чтобы было слышно, что он уходит, и не вернулся. Ибрагим на дворе доел орехи и стал ходить вдоль коновязи, туда и обратно, и лошади поворачивали за ним головы. Ершов сидел на лавке. Ему никто не велел сидеть, но никто и не отпускал.

Пасынков дошёл до лета.

Летние листы были хуже. Летом Ершов писал быстро, на коленке, на берегу, при ветре, и многое писал для себя, сокращая, так что потом сам с трудом разбирал. Пасынков разбирал. Иногда спрашивал: это что? Ершов объяснял. Это

Онуфрий-перевозчик. Это сторож с колотушкой. Это у Ковалихи щи. Это я думал, что Харитон врёт, а потом выяснилось, что врёт иначе.

На одном листе Пасынков остановился и долго смотрел на поле.

— А это?

Ершов наклонился. На поле, кривовато, видно, на весу, стояло: «А. П. сердится. За струг. Права».

Ершов почувствовал, что у него горят уши. Он не помнил, когда это написал. Он вообще не помнил, что писал такое.

— Это к делу? — спросил Пасынков.

— Нет.

— А записал.

— Записал.

Пасынков посмотрел на него, и Ершов в первый раз увидел у него на лице что-то, кроме усталости. Не усмешку. Что-то вроде любопытства.

— Ты и это не вычёркиваешь, — сказал Пасынков.

Он положил лист налево.

Ещё через пачку он остановился опять. Этот лист был с того дня, когда уходил струг: Ершов узнал его по пятну, это тогда Ондрюшкина кошка вырвалась и пробежала по листам. Почерк был торопливый. Список: кого сняли со струга, кого оставили. Ниже — Аграфенин счёт, переписанный с её доски: шестнадцать дней, двадцать два ярыжки, рубль семьдесят шесть. И ещё ниже, тесно, последней строкой, куда уже

еле влезло:

«При К. на берегу баба в литовском платье. Писала ей на колене, на бумаге, не на доске. Рука скорая, чистая».

— Это кто? — спросил Пасынков.

Ершов долго смотрел на строчку.

— Не знаю, — сказал он наконец. — Видел раз. На Бакалде, когда струг уходил. При Аграфене Петровне стояла. Писала ей.

— Из полону?

— Должно быть. Иная откуда?

— Что писала?

— Не знаю. Я не подходил.

— А записал, — сказал Пасынков.

— Записал. Она быстро писала. Я подумал: хорошая рука.

И записал.

Пасынков положил лист налево. Сверху на него положил ещё один, тот, что с «А. П. сердится», и посмотрел на оба.

— Кондратьева, — сказал он. — Солью торгует.

— Солью.

— Письма в Нижний пишет?

— Пишет. Соль в Нижний возит. В Соликамск пишет, соль берёт.

— Сама пишет?

— Сама считает, — сказал Ершов. — Пишет ли сама — не знаю.

Пасынков ничего не сказал. Он взял свой лист, на котором

был список, и приписал внизу два слова. Ершов не видел, какие.

Ближе к вечеру пришёл лекарь. Его прислал воевода, потому что Пасынков, как сказал лекарю воевода, кашлял ночью в горнице так, что слышно было через стену. Лекарь был высокий, сутулый, с длинным носом и с мешочком на поясе, и говорил по-русски хорошо, только слишком правильно, будто читал.

— Воевода велел посмотреть, — сказал лекарь.

— Не надо, — сказал Пасынков.

— Воевода велел.

— Я тебе говорю: не надо.

Лекарь постоял. Посмотрел на Пасынкова, на свечи, на стопки листов, на Ершова на лавке.

— Кашель от сырости, — сказал он. — Изба сырая. Печь у дьяка худо топлена. — Он подумал. — Редьку. С мёдом. Натощак.

Пасынков посмотрел на него.

— Редьку?

— Редьку, — сказал лекарь. — Воеводе помогает.

Он поклонился и вышел. Пасынков проводил его взглядом до двери и, когда дверь закрылась, повернулся к Ершову.

— По-польски читает? — спросил он.

— Говорят, читает.

Пасынков ничего не ответил. Он взял свой список и приписал ещё что-то, внизу, под теми двумя словами.

Потом он сложил Ершовы листы. Тех, что лежали справа, было много, почти все. Их он сунул обратно в Акулинин мешок. Тех, что лежали слева, было восемь. Их он оставил на столе и прижал книгой.

— Эти у меня полежат, — сказал он.

— Там Акулинин счёт за свечи.

— Полежит и счёт, — сказал Пасынков. — Отдашь же.

Ершов взял мешок. Мешок стал легче, но ненамного. У двери он обернулся.

— Завтра? — спросил он.

— Завтра роспись принесут, — сказал Пасынков. — Полоняничью. Шестьдесят три. — Он закашлялся, долго, в кулак, и, откашлявшись, посмотрел на дверь, за которой ушёл лекарь. — Редьку, — сказал он. — Это ж надо.

Ибрагим на дворе встал с колоды, когда Ершов вышел.

— Ну?

— Восемь листов оставил.

— Каких?

Ершов подумал.

— Про свечи. Про Аграфену Петровну. — Он помолчал.

— Про бабу на Бакалде.

— Какую бабу?

— Не знаю, — сказал Ершов. — Я её сам не помнил, пока он не прочёл.

Ибрагим посмотрел на мешок.

— Мешок Акулинин, — сказал он. — Из-под муки. Ты ей

скажи, что мука в нём ещё была. Я трогал. Она спросит.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Шестьдесят три

Роспись принесли в пятницу, к обеду. Принёс её сам дьяк, хотя мог послать подьячего, и положил на стол перед Пасынковым так, как кладут вещь, которую больше не хотят видеть.

— Шестьдесят три поимённо, — сказал дьяк. — А с малолетними и с челядью, которых особо не писали, — сто девятнадцать человек. Двое померли летом, их вычеркнуть не успели. Один сбежал в Петров пост, его ищут. — Он помолчал. — Ищут — это так пишется.

Пасынков развернул роспись. Она была длинная, в восемь листов, склеенных в столбец, и Пасынков разматывал её по столу, и столбец свисал со стола на пол, и Ершов, сидевший напротив, поднял конец, чтобы не мялся.

Роспись была как роспись. Имя, по-русски, как сумел записать подьячий, который принимал полон. Чин: ротмистр, хорунжий, шляхтич, пахолок, челядник, жена тако-го-то, дочь такого-то. Откуда взят: из-под Могилёва, из-под Вильны, из Шклова, из Старого Быхова. И кому роздан: на воеводский двор, в Спасский монастырь, в Зилантов монастырь, торговому человеку такому-то в работу, на ямской двор, на пушечный двор, на кружечный двор. Кто крещён в православие — тут же: «а ныне во крещении Иван». Кто не крещён — ничего.

Грамотных в росписи не было. Ни одного. Про грамоту роспись не спрашивала.

— Мне нужно знать, кто пишет, — сказал Пасынков. — Кто из них грамоте умеет. Кто письма возит. Кто к приказным людям вхож. — Он постучал пальцем по столбцу. — Шестьдесят три. Пройди всех.

— Всех не пройду, — сказал Ершов.

— Почему?

— Всех спрашивать — все узнают, что спрашивают. — Ершов посмотрел на столбец. — Кто пишет, тот бумагу покупает. Бумаги в Казани продают немного. Можно спросить, кто покупает.

Пасынков посмотрел на него долго.

— Спроси, — сказал он.

Дьяк у окна хмыкнул. Пасынков не обернулся.

В тот час у губной избы собирался народ. Ершов туда не пошёл.

Врозницу, по листу и по дести, Ершов знал в Казани двоих: лавку в Гостином ряду, у Спасских ворот, где продавали ещё ладан, свечи и пергаменные обрезки для переплёта, и Гурия, старика с коробом, который ходил по приказным избам, по монастырям и по дворам и продавал бумагу по листу, по дести, а кому и по пол-листа. У Гурия Ершов брал всю весну. Гурий был дешевле лавки на две деньги за десть, потому что бумага у него была с изъёмом, серая, с ворсом, на которой чернила иногда расплывались, а иногда нет.

Гурия Ершов нашёл у приказной избы, на крыльце, где тот всегда сидел по пятницам, потому что в пятницу у подьячих выдавали кормовые. Гурий сидел на коробе и ел пирог.

— Полоняники? — переспросил Гурий. — Берут. А чего не брать. Бумага всем нужна.

— Кто берёт?

Гурий подумал, жуя.

— Немец берёт, лекарь. Много берёт. Хорошую. Мою не берёт, в лавке берёт. Ко мне только когда лавка заперта.

— Немец не полоняник.

— Не полоняник, — согласился Гурий. — А ты спросил, кто берёт. — Он дожевал. — Шляхтичи на воеводском дворе берут. Челобитные пишут. По-русски сами не умеют, им наш дьячок пишет, а бумагу свою дают. Чтоб, значит, на хорошей. Ротмистр там есть, длинный, с усами, тот берёт по дести, раз в месяц. Пишет государю, чтоб его разменяли. — Гурий вытер руки о полу. — Каждый месяц пишет. Я ему говорю: пан, государь уж, поди, твою челобитную наизусть знает. Он не понимает. Он по-нашему только «сколько» понимает.

— Ещё?

— Ещё на ямском дворе один. Литвин. Крещёный, Иваном звать, а по-ихнему как-то по-другому. — Гурий подумал. — Янко. Он ямщикам подорожные переписывает, при ямском приказчике. Грамотный. Берёт мало, по листу. Торгуется. — Гурий хмыкнул. — Литвин, а торгуется, как наш.

— Ещё?

Гурий посмотрел на него.

— Ещё баба, — сказал он. — От Кондратьевой. Кондратьева у меня давно берёт, ещё при муже брала, для торговых писем. А с весны баба приходит. Не наша. Говорит по-нашему, а не по-нашему. — Он подумал, как сказать. — Чисто говорит. Чище тебя. Только будто по книге.

Ершов ничего не сказал. Гурий ждал.

— Кондратьевой берёт, — сказал Ершов. — Не себе.

— Кондратьевой, — согласился Гурий. — Я и говорю. — Он стал завязывать короб. — Она, баба эта, у меня спросила однажды: а другой нет? Получше? Я говорю: лучше в лавке. Она говорит: в лавке дорого, хозяйка не велит. — Гурий взвалил короб на спину. — Хозяйка не велит, а самой хочется. Я так понял.

Ершов записал. Гурий постоял, посмотрел, как он пишет.

— Тебе, подьячий, бумаги не надо? Ты, говорят, мешок исписал.

— Кто говорит?

— Акулина твоя, — сказал Гурий. — В лавке у Спасских, вчера. Говорила: мешок из-под муки, полный. — Он подумал. — Ты бери. Я тебе дешевле отдам. Как старому.

Пасынков выслушал про бумагу, не перебивая. Когда Ершов дошёл до бабы от Кондратьевой, он достал из-под книги вчерашний лист, тот, с Бакалды, с последней строкой, и положил рядом с росписью. Потом стал разматывать столбец,

медленно, сверху, и вёл пальцем по третьей графе, где было написано, кому роздан.

Палец остановился в самом низу, на последнем листе.

«Ганна, латинской веры, ротмистра Стефана Волковича жена, взята под Могилёвом. Муж её в Вологде. Роздана в работу казанской вдове Аграфене Кондратьевой, по её челобитью, марта в 11 день».

Пасынков повернул столбец к Ершову.

— По её челобитью, — сказал он. — Сама просила.

Ершов прочёл. Потом ещё раз. Он не знал, что Аграфена брала полонянку. Он не знал, почему не знал. Весной он бывал у Аграфены раза три, по делу, на дворе и у амбара, в горницу не поднимался. И Аграфена ни разу не сказала.

— Марта в одиннадцатый, — сказал Пасынков. — До Пасхи. До струга. До твоего арзамасца. — Он посмотрел на Ершова. — Это твоя баба на Бакалде.

— Может быть.

— Может быть, — согласился Пасынков. Он записал в свой лист. — Литовское платье. Скорая рука. Бумагу покупает Кондратьевой, а сама хочет лучше. — Он отложил перо. — Ершов. Кондратьева тебе кто?

Ершов посмотрел на него.

— Никто.

— «А. П. сердится. Права», — сказал Пасынков, не заглядывая в лист. — Никто.

Ершов промолчал.

— Я не к тому, — сказал Пасынков. — Мне всё равно, кто тебе кто. Мне надо знать, где ты будешь врать. — Он свернул столбец. — Ты к ней пока не ходи. Я сам.

— Ты её не знаешь.

— Вот и узнаю, — сказал Пасынков. — Ты на ямской двор сходи. К Янку. Посмотри, как торгуется.

Он отпустил Ершова. Но у двери окликнул, как в первый вечер.

— Толмач твой, — сказал он. — Ибрагим. Летом куда ездил?

Ершов остановился.

— В Свяжск. В июне. За письмом от Нила Саввича, по Харитонову делу.

— Водой?

— Водой. С рыбаками.

— Один?

— Один.

— Долго?

— Три дня.

Пасынков кивнул.

— А ещё зачем ездил? Кроме письма?

Ершов подумал. Он вспомнил Ибрагима на пороге у Акулины с вяленным лещом.

— За лещом, — сказал он.

Пасынков посмотрел на него без улыбки.

— За лещом, — повторил он и записал.

Ямской двор стоял за Булаком, на выезде к Арской дороге, большой, с длинными конюшнями, с избой для приказчика, с колодцем и с вечной грязью у ворот, которая не высыхала даже в жару и не замерзала до самого Филиппова поста, потому что в неё всё время ставили лошадей. Ямщики были свои, казанские, русские и татары, половина на половину, и полоняников при дворе было трое: двое конюхов и один при избе.

Ибрагим вошёл в ворота первым, и с ним сразу поздоровались, по-татарски, трое или четверо, и один крикнул что-то через двор, и Ибрагим ответил, и все засмеялись.

— Чего он? — спросил Ершов.

— Спрашивает, не продал ли я тебя ещё, — сказал Ибрагим. — Я сказал: никто не берёт.

В ямской избе сидел приказчик, толстый, с перевязанной щекой, и диктовал. Писал за него полоняник: худой, светлый, лет тридцати, с аккуратно подстриженной бородкой, в чистом русском кафтане, чище, чем у приказчика. Он писал подорожную, быстро и ровно, и, когда Ершов вошёл, поднял голову, посмотрел, улыбнулся вежливо и продолжал писать, не сбившись.

— Иван, — сказал приказчик. — Литвин. Крещёный. Мне его с весны дали, так я горя не знаю. Мой подьячий спился, а этот пишет. — Он подержался за щеку. — Зуб. Третий день. — Он посмотрел на Ершова. — Ты от Пасынкова? Мне сказали, московский тут всех спрашивает.

— От Пасынкова.

— Ну, спрашивай.

Ершов спросил про подорожные: кто ездил летом на Нижний, кто возил частные письма. Приказчик сказал, что частные письма ямщики возят все, за деньгу, за две, кто сколько даст, и что он, приказчик, в это не мешается, потому что ямщику тоже жить надо. Летом на Нижний гоняли раз пять, может, шесть. Кто гонял — в книге.

— Иван, дай книгу.

Полоняник встал, достал из ларя книгу и подал, раскрытую на июне, раньше, чем приказчик сказал, на каком месяце. Ершов взял книгу и посмотрел на него.

— Июнь, — сказал полоняник. — Вы про июнь спрашиваете. Московский пан про июнь спрашивал. Вчера, у воеводы, все говорили: июнь. — Он сказал это просто, без улыбки, по-русски чисто, только мягко на «л».

— Кто говорил?

— Все. — Полоняник пожал плечами. — Холопы воеводские. У нас тут все всё знают. Как у вас говорят: в одном углу чихнёшь, в другом — будь здоров.

Ершов стал читать книгу. В июне на Нижний с гонцами ходили трижды. Провожатыми — Ахметка, Фёдор Косой и Мацейко литвин.

— Мацейко — это кто?

— Конюх, — сказал приказчик. — Тоже литвин. Тоже наш, полоняник. Он, когда трезвый, лучше всех гоняет. Ло-

шадь его любит. — Приказчик подумал. — Когда пьяный — тоже гоняет. Только поёт.

— Где он?

— На конюшне, где ему быть.

Мацейко был на конюшне. Он был невысокий, широкий, рыжий, с красным лицом и с левой рукой, на которой не хватало двух пальцев, среднего и безымянного. Он чистил лошадь и пел по-своему что-то длинное и, увидев Ершова, петь перестал, а лошадь чистить не перестал.

— Нижний, — сказал он, когда Ершов спросил. — Гонял. — Он говорил по-русски плохо, с половиной слов. — Июнь гонял. Два раза. Подорожна — пан Иван пишет. Я — гоню. — Он показал на лошадь. — Она гонит. Я сажу.

— Письма возил?

Мацейко посмотрел на Ершова, потом на Ибрагима, потом опять на лошадь.

— Все возят, — сказал он. — Деньга. Купец даёт — везу. Поп даёт — везу. — Он подумал. — Баба даёт — везу.

— Какая баба?

— Не знаю. Темно было. Платком закрыта.

— Узнаешь?

— Не узнаю. — Мацейко отвернулся к лошади и стал чистить сильнее. — Руку видел. Письмо видел. Лица не видел. Мало ли баб. — Он помолчал. — Я неграмотный, пан. Я не знаю, что в письме. Я знаю: Нижний, такой двор, такой человек. Отдал — деньга. Всё.

Ибрагим что-то сказал ему тихо, по-татарски, и Мацейко, к удивлению Ершова, ответил тоже по-татарски, коротко, и засмеялся, не весело.

— Что ты ему сказал?

— Спросил, откуда у него татарский, — сказал Ибрагим.

— Он сказал: от лошадей. Тут все лошади татарские.

Из конюшни Ершов вышел в сумерки. Янко-Иван стоял на крыльце ямской избы, без шапки, и смотрел, как они идут к воротам. Когда они поравнялись, он сказал:

— Пан подьячий. Бумаги не надо? У Гурия плохая. У меня есть лучше. Недорого.

— Откуда у тебя?

— Купил, — сказал Янко. — В лавке. На всякий случай.

— Он улыбнулся. — Я так всегда. Покупаю лучше, чем надо. Потом продаю тем, кому надо.

— Не надо, — сказал Ершов.

— Как хотите, — сказал Янко и поклонился.

За воротами Ибрагим долго молчал. Потом сказал:

— Торгуется.

— Кто?

— Гурий сказал: литвин торгуется, как наш. — Ибрагим посмотрел назад, на ворота. — Не торгуется. Продаёт.

Они шли по Булаку. Было совсем темно и холодно, и в кабаке у перевоза уже горел свет, и оттуда пели, и Ершову показалось, что поют по-литовски, но, когда подошли ближе, оказалось, что по-русски, просто плохо.

У Акулины на столе лежали шесть листов бумаги, серой, с ворсом, перевязанных ниткой.

— Гурий принёс, — сказала Акулина. — Сказал: подьячему, как старому. В долг. — Она посмотрела на Ершова. — Я не брала. Он сам оставил. Я говорю: у него свои свечи теперь, из Москвы, и бумага, поди, из Москвы будет. А он говорит: из Москвы бумага ещё серее.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Переводчица

У Кондратьевой Пасынков был в пятницу, к вечеру, и пробыл недолго. Ершову он рассказал об этом в субботу утром, коротко, между делом, не поднимая глаз от росписи, так, как рассказывают о погоде в чужом городе.

— Сама выбирала, — сказал Пасынков. — В марте пришла к дьяку и спросила: есть ли в полоне баба грамотная. Не работница. Грамотная. Дьяк сказал: есть одна, ротмистрова жена, по-польски пишет, по-латыни пишет и по-нашему скорописью. Кондратьева сказала: эту. — Он перевернул лист. — Сказала мне: мне не пол мести, мне письма писать. Соликамскому, нижегородскому, в Астрахань. Сама она считает лучше, чем пишет. Муж покойный писал, а как помер — приказчик Тихон писал, а Тихон пишет, как курица лапой. Соликамский ей, говорит, однажды письмо назад прислал: «не разобрал».

— Ты сундуки смотрел?

— Смотрел. — Пасынков поднял глаза. — Она сама открыла. Сказала: смотри, московский, мне прятать нечего, у меня всё в книгах. — Он помолчал. — Книги у неё хорошие. Чистые. Полонянкиной рукой с весны.

— А она?

— Кто?

— Полонянка.

— Её не было. — Пасынков закрыл роспись. — На Бакалде была, у амбара, с Тихоном, соль считала. — Он посмотрел на Ершова. — Кондратьева про тебя спросила.

Ершов ничего не сказал.

— Спросила: подьячий-то ваш где? Я сказал: при деле. — Пасынков опять открыл роспись, хотя, видно, читать её не соби́рался. — Она сказала: при деле он всегда.

Он помолчал ещё.

— Сегодня приведут. Полонянку. — Он достал из-за пазухи лист, не тот, что с переводом, а другой, сложенный вчетверо, потёртый на сгибах. — Это список с польского письма. Не подлинник, подлинник в Москве. Список делал подьячий в Посольском приказе, который по-польски пишет, а сам не поляк. — Он развернул лист и положил на стол. — Пусть переведёт.

— Перевод у тебя есть.

— Есть, — сказал Пасынков. — Мне не перевод нужен. Мне нужно видеть, как читает.

Лекарь переводить отказался. Пасынков послал за ним с утра, и лекарь ответил через стрельца, что болен, что сам грудью хвора́ет, от сырости, и что он пришлёт рецепт. Рецепт он прислал: на латыни, на четвертушке. Пасынков повертел лист, сложил и убрал за пазуху, к остальному.

— Что там? — спросил Ершов.

— Редька, — сказал Пасынков. — Стрелец сказал.

Полонянку привели к полудню. Привёл её не стрелец, а

Тихон, Аграфенин приказчик, а за ними вошла и сама Аграфена, в шубе, в тёплом платке, и встала у двери, и стрелец, который шёл следом, остался в сенях, потому что для него места не хватило.

— Моя работница, — сказала Аграфена Пасынкову. — Без меня не пущу. Мне её по челобитью дали, мне за неё и ответ.

— Садись, Аграфена Петровна, — сказал Пасынков.

Аграфена села на лавку у двери. Ершову она кивнула, как кивают знакомому приказному человеку, через стол, не больше. Тихон остался стоять.

Ганна стояла посреди избы.

Ершов узнал её не сразу. На Бакалде, в мае, она была в литовском платье, с длинным поясом и в высокой шапке. Теперь на ней был русский шугай, Аграфенин, видно, старый, широкий в плечах, и платок, закрывавший волосы и шею, только уложен он был не так, как у русских баб. Она была невысокая, лет тридцати, с высоким лбом и с тонким носом, и руки у неё были красные от холода и от работы, с цыпками на костяшках, а на среднем пальце правой руки, сбоку, чернильное пятно, старое, въевшееся.

Она посмотрела на Пасынкова, на Ершова, на дьяка у окна и поклонилась всем сразу, не низко, по-своему, одной головой.

— Пан, — сказала она Пасынкову. По-русски она говорила чисто, как сказал Гурий, только как будто по книге: каж-

дое слово отдельно, ни одного не проглатывая. — Мне хозяйка сказала: переводить. Что переводить?

Пасынков подвинул к ней лист.

— Это.

Ганна взяла лист. Поднесла к окну, потому что в избе было темно. Читала она молча, и Ершов смотрел на неё, потому что Пасынков велел смотреть, и потому что смотреть больше было не на что.

Она прочла лист до конца. Один раз, быстро, не останавливаясь. Потом вернулась к началу.

— Это письмо, — сказала она. — Из Казани. Кому — не написано. Писано по-польски, но не поляком.

— Почему не поляком? — спросил Пасынков.

— Поляк так не пишет, — сказала Ганна. — Литвин пишет. Или русин. Слова польские, а порядок — наш. — Она подумала. — И ошибки. Вот, — она показала пальцем, — тут написано не так, как надо. Но это, может, не писавший ошибся, а тот, кто списывал. — Она посмотрела на Пасынкова. — Это ведь список?

— Список.

— Тогда я не знаю, кто ошибся.

— Переводи, — сказал Пасынков.

Она переводила медленно, вслух, стоя у окна, и дьячок, которого Пасынков позвал, записывал. Переводила она не слово в слово, как Посольский приказ, а целыми кусками: прочитывала строку про себя, потом говорила по-русски, и

русские слова у неё выходили ровные и сухие, как будто она их не переводила, а пересчитывала.

«В Казани стрельцов два приказа, полных нет, в одном недостача. На Низ весной отпущено сто человек с головою. Струги весной пошли с солью, с хлебом и с кожами, а с порохом не пошли».

Ершов слушал и думал о том, что весь этот город, вся его весна уместились в несколько строк, и строки эти были верные.

«Воевода стар, болен, лечится у немца. Ест редьку». Тут Ганна не улыбнулась, и дьяк у окна кашлянул, и Пасынков не обернулся. «Губной человек честный, но боится, что его в Москве не похвалят, и потому делает медленно».

«А у них же в Казани подьячий приезжий...»

Ганна остановилась на один вдох. Потом подняла глаза от листа и посмотрела на Ершова, прямо, в первый раз с тех пор, как вошла. Ершов понял, что ей не нужно было угадывать, кто здесь подьячий приезжий.

Она опустила глаза и прочла дальше:

«...тот, что у мельника меру поверял и что арзамасского человека с беглым сличал. Пишет всё, что слышит, и что написал, того не вычёркивает, хотя бы и против себя. Таких у них мало. От него держаться подале».

— Не вычёркивает? — сказал Ершов.

Ганна посмотрела на него.

— Не вычёркивает, — повторила она.

— В Посольском переведено: не марает.

Ганна подумала.

— Можно и так. — Она посмотрела в лист. — Только «марать» по-вашему — пачкать. Грязнить. А тут стоит слово про чернила. Про то, что зачёркивают пером. — Она провела пальцем по воздуху, коротко, как проводят черту. — Не про совесть. Про чернила.

— А может, и про совесть, — сказал Ершов.

— Может, — сказала Ганна. — Тогда бы он написал про совесть. — Она посмотрела на него спокойно. — Я перевожу, что написано, пан подьячий. Не что вы хотите прочесть.

— А что он хотел сказать, — спросил Пасынков от стола, — не переводишь?

Ганна повернулась к нему.

— Что хотел — у него спросите, пан, — сказала она. — Я могу сказать, что он написал. А что хотел — это я буду придумывать. — Она помолчала. — У нас в Могилёве был толмач при старосте. Он переводил, что люди хотели сказать. Его потом повесили. — Она подумала. — Не за это. За другое. Но и за это тоже.

Аграфена у двери пошевелилась. Тихон посмотрел на неё. Пасынков ничего не сказал.

Ганна дочитала до конца. В конце письма ничего не было, ни имени, ни поклона, только число: «Писано в Казани, июня в...» — и цифры.

— Тут цифры, — сказала Ганна. — Числа по-вашему.

Буквами. Под титлом.

— Вижу, — сказал Пасынков.

— В польском письме так обыкновенно не пишут, — сказала Ганна. — У нас теперь тоже больше цифирью. — Она подумала. — Значит, кто писал, тот по-русски много считал. — Она положила лист на стол. — Это я не перевожу. Это я так думаю.

— А ты как пишешь числа? — спросил Пасынков.

Ганна посмотрела на него, потом на Аграфену.

— Как хозяйка велит, — сказала она. — В хозяйкиных книгах — по-вашему, буквами. Хозяйка цифири не любит, говорит: у неё в глазах рябит. А когда я своё пишу, — она помолчала, — когда я своё пишу, мне не на что. Бумага хозяйская.

Аграфена у двери сказала, не вставая:

— Цифири не люблю. Это правда. А бумагу я ей давала. Сколько просила — столько давала. — Она посмотрела на Пасынкова. — Пусть скажет, что не давала.

— Давала, — сказала Ганна. — Хозяйка давала. Я не просила.

Пасынков долго смотрел на неё. Потом взял лист со стола, сложил по старым сгибам и убрал за пазуху.

— Ступай, — сказал он. — Обе ступайте. — И добавил, уже глядя в роспись: — Аграфена Петровна, ты её из Казани никуда не отпускай.

— Куда я её отпущу, — сказала Аграфена. — Она у меня

в работе. — Она встала. — Тихон.

Тихон открыл дверь. Ганна поклонилась опять, одной головой, и вышла первой. Аграфена задержалась у двери, застёгивая шубу, и посмотрела не на Пасынкова, а на Ершова.

— Ты, Тимофей Андреевич, с весны у меня в горнице не бывал, — сказала она. — А московский вчера пришёл — и в сундуки. — Она застегнула последнюю пуговицу. — Я ему открыла. Мне прятать нечего.

Она ушла. Тихон закрыл за ней дверь.

— Теперь она знает, что письмо у тебя, — сказал Ершов.

— Знает.

— Если она писала, больше не напишет.

— Напишет не она, — сказал Пасынков. — Придёт к ней кто-нибудь. Спросить, что у московского. Мне того и надо.

Дьячок дописал перевод, посыпал песком и подал Пасынкову. Пасынков положил его рядом с московским и стал читать оба, строку против строки, как Ершов летом читал выпись. Ершов ждал.

— Ну? — сказал наконец Пасынков, не поднимая головы.

— Она прочла его один раз, — сказал Ершов. — Быстро. До конца. Потом вернулась.

— Так все читают.

— Не все. Ты вчера мои листы читал по строке. — Ершов помолчал. — И она сказала: тут ошибка, может, у того, кто списывал. Она нашла ошибку. Но переводила это место без запинки. Не остановилась.

Пасынков поднял голову.

— Какое место?

Ершов показал. Пасынков взял московский перевод, нашёл. В польском списке слово стояло целиком, только с пропущенной буквой, так что выходило другое слово, бессмысленное. В московском переводе на этом месте был пропуск: «...а с (...) не пошли». Ганна сказала: «а с порохом не пошли» — и пошла дальше.

— Она догадалась, — сказал Пасынков.

— Может быть.

— Умная баба догадается, что там. — Пасынков положил оба листа рядом. — С порохом не пошли — что ещё там может быть.

— Может быть, — сказал Ершов.

Пасынков посмотрел на него.

— Ты, Ершов, когда говоришь «может быть», — сказал он, — у тебя лицо делается такое, как будто ты это уже записал.

Ершов ничего не ответил.

У Акулины, когда он пришёл, на лавке у двери стоял пудовый мешок с солью, перевязанный бечёвкой, и Акулина сидела рядом с ним и смотрела на него, как на гостя, которого не звала.

— Кондратьева прислала, — сказала Акулина. — С полонянкой своей. И с Тихоном, Тихон нёс. Я у неё в Покров брала на капусту, в долг, полпуда. Она прислала пуд. — Аку-

лина посмотрела на мешок. — Полонянка говорит: хозяйка велела сказать, что полпуда — долг, а полпуда — за то, что подьячий у тебя живёт и свечи жжёт. — Акулина подумала. — Это она про что?

Ершов не знал, про что.

— Учёная, — сказала Акулина. — Полонянка. Я ей квасу налила. Она выпила и говорит: у вас квас, как у нас пиво. — Акулина помолчала. — Я не поняла, хорошо это или нет. Спросить не успела. Тихон увёл. — Она поднялась. — Сундук твой смотрела. Говорит: какой сундук хороший, у нас в Могилёве такие делают. Я говорю: это не мой, это подьячего, у него там бумаги одни. Она говорит: бумаги — это хорошо, бумаги — это тепло. Зимой, говорит, бумагой окна конопатят.

Акулина взяла мешок с солью за бечёвку и потащила к печи.

— Ты её не знаешь, нет? — спросила она через плечо.

— Видел сегодня.

— Ну вот, — сказала Акулина. — А она про тебя всё знает. Где спишь, сказала, и то знает. Я говорю: откуда? Она говорит: у вас в Казани новость прежде человека ходит.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Рядом с письмом

Про Мирона Ершов вспомнил ночью, оттого что не спал.

Он лежал на лавке и думал не про Мирона, а про то, как Ганна сказала: «с порохом» — и не запнулась. Потом думал про Аграфену у двери, про пуговицы на шубе, которые она застёгивала по одной, сверху вниз, глядя на него, а не на пуговицы. Потом, чтобы не думать ни про ту, ни про другую, стал думать про письма. Кто их возит. Как их возят. Ямщики за деньгу. Купцы со своими приказчиками. Стрельцы с отписками.

Стрельцы с отписками.

Он сел на лавке. Акулина за печью перестала храпеть, прислушалась и захрапела опять.

Мирон Сухих стоял весной у Акулины в дверях, мял шапку, просил написать матери. Ершов написал, сложил, отдал. Мирон сунул лист за пазуху. И там, за пазухой, что-то уже лежало. Ершов это видел тогда и не подумал. Мало ли что у стрельца за пазухой. Хлеб. Ложка. Отписки — нет, отписки в ларце, в съезжей. Что-то плоское. Лист к листу.

Утром он нашёл Мирона в стрелецкой слободе, у съезжей избы стрелецкого головы, где Мирон, в рваных рукавицах, колот дрова на чужом дворе. Дрова были не его, двор был не его, рукавицы тоже, видно, были не его.

— Голове колю, — сказал Мирон. — Он мне за это караул

в Филиппов пост сменит. — Он воткнул топор в колоду. — Ты, подьячий, опять писать? Я ещё не надумал. Агафье-то.

— Не писать. Спросить.

Мирон посмотрел на него, и лицо у него стало другое: настороженное и сразу постаревшее.

— Про московского, — сказал он. — Слышал. Все слышали. Полонянку, говорят, водили. — Он сплюнул. — Я, подьячий, полонянок не знаю.

— Весной ты через Нижний в Арзамас шёл, — сказал Ершов. — Я тебе матери письмо написал. Ты его за пазуху положил. А там у тебя уже что-то лежало.

Мирон долго молчал.

— Лежало, — сказал он наконец. — Ну.

— Что?

— Письмо, — сказал Мирон. — Чужое. — Он вытер лоб рукавицей. — Подьячий, все возят. Я с отписками иду, ну и чужое беру. Кто бы не взял? Мне алтын дали. Отдай, говорят, в Нижнем, на посаде, человеку такому-то. Я отдал. Мне там ещё деньгу дали, за то, что донёс. Это не грех.

— Кто дал?

— Мальчишка. — Мирон пожал плечами. — Пришёл к съезжей, утром, в тот день, как мне к тебе идти. Говорит: ты, дядя, в Нижний? Я говорю: в Нижний. Он говорит: возьми, от купца, там за кожи счёт. И алтын.

— Какой мальчишка?

— Мальчишка, — повторил Мирон. — Какие они быва-

ют. Белобрысый. В рубахе до колен. — Он подумал. — Сопливый.

— Чей?

— Не знаю. Не спрашивал. — Мирон посмотрел на него с досадой. — Подьячий, я ж не губной. Мне алтын дают — я беру.

— А кому отдал? В Нижнем?

Мирон подумал.

— На Нижнем посаде, у Благовещенья, — сказал он. — Литвин. Сапожник. Кузьмой звать, а так — Казимир. Тоже полоняник, только он давно, с прошлой войны, уже и женился там. — Мирон помолчал. — Он мне ещё сапоги подлатал. Даром. Сказал: стрельцу — даром. — Он посмотрел на свои ноги. — Подлатал худо. До Арзамаса не дошли.

Ершов записал. Мирон смотрел, как он пишет.

— Мне за это что будет? — спросил он.

— Не знаю.

— Ты скажи московскому, — сказал Мирон, — что я не знал. Я не знал, подьячий. Я неграмотный. Мне что кожи, что не кожи.

— Скажу, что ты сказал, — сказал Ершов.

Мирон посмотрел на него долго.

— Ну, скажи, — сказал он и выдернул топор из колоды.

Белобрысых мальчишек в рубахах до колен в Казани было, может, сто. Ершов начал с Проньки. Не потому, что был уверен, а потому, что другого мальчишки, который бегал за

деньгу с чужими поручениями возле кремля, он не знал. Ершов пошёл к Фалалею.

Пронька за лето вырос, и рубаха у него стала не до колен, а выше колен. Он чистил хлев и, увидев Ершова, бросил вилы, но не так, как бросают работу, а так, как бросают, когда сейчас дадут денег.

— Весной, — сказал Ершов. — В мае. Перед Николой. Тебе дали письмо, снести стрелцу к съезжей. Стрелец в Нижний шёл.

Пронька подумал. Он думал так, что было видно, как он перебирает: деньги, деньги, деньги.

— Дали, — сказал он. — Баба дала.

— Какая баба?

— Баба, — сказал Пронька. — В платке. — Он подумал ещё. — На улице дала. У ворот. Говорит: снеси к съезжей, найди стрелца, который в Нижний идёт, рыжий, рябой, отдай, скажи: от купца, за кожи. — Он помолчал. — И алтын ему дай. И деньгу тебе.

— Деньгу дала?

— Не деньгу, — сказал Пронька, и в голосе у него было уважение, которое у него было только к деньгам. — Копейку. Серебряную.

Он полез за пазуху, в рубаху, и долго там шарил, и наконец вытащил тряпочку, и развернул, и в тряпочке лежала серебряная копейка, маленькая, кривая, как чешуйка, тусклая от того, что её всё лето держали в тряпочке и разворачивали.

— Не тратил, — сказал Пронька. — Серебро. Его не тратят.

— Какая была баба?

— В платке, — сказал Пронька. Он смотрел на копейку.
— Не старая. Не молодая. Говорила по-нашему. Тихо.

— Узнаешь?

Пронька посмотрел на него.

— Я на копейку смотрел, — сказал он честно.

Пасынков выслушал про Мирона, про сапожника у Благовещенья, про Проньку. Когда Ершов дошёл до Кузьмы-Казимира, Пасынков, не дослушав, кивнул.

— Знаем, — сказал он.

Ершов остановился.

— Кузьму знаем, — сказал Пасынков. — С лета. Человека, которого под Смоленском взяли, вёз от Кузьмы другой человек, а к Кузьме письмо пришло из Казани. Кузьму в Нижнем не берут. — Он помолчал. — Через него читают. От Кузьмы дальше возит человек, которого мы знаем. Он сперва приносит нам. Мы вскрываем, списываем, запечатываем опять, и он везёт дальше. Кузьма думает, что всё доходит. Оно и доходит. Только сперва к нам.

— С лета?

— С августа. — Пасынков посмотрел на Ершова. — Майского пакета, Миронова, мы не видели. Он прошёл раньше. Июньский видели только на Смоленской дороге, когда уж его повезли дальше. А теперь — всё видим. — Он помолчал.

— Значит, теперь, если из Казани что пойдёт, — мы узнаем раньше, чем король.

Ершов сел на лавку.

— Ты мне не сказал.

— Не сказал, — согласился Пасынков. — А теперь говорю. — Он посмотрел на Ершова спокойно. — Ты, Ершов, пишешь всё, что слышишь. Я тебе говорю то, что тебе надо знать. Это разное.

Он взял у Ершова лист и прочёл про копейку.

— Серебряная, — сказал Пасынков. — Сейчас серебро редко у кого. Медь у всех.

— У Кондратьевой серебро есть, — сказал Ершов. Он сказал это раньше, чем подумал, и, сказав, пожалел. — Соль в Нижнем продаёт за серебро. Летом серебро с Нижнего пришло.

Пасынков посмотрел на него.

— Ты это мне сказал, — сказал он. — Или себе?

Ершов не ответил.

— Ладно, — сказал Пасынков. — Копейку возьми у мальчишки. Пусть у меня полежит.

— Он не отдаст.

— Медную ему дай. Две медные.

— Он медную потратит, — сказал Ершов. — А серебро он не тратит. Он всё лето её в тряпочке носил.

Пасынков подумал.

— Тогда пусть носит, — сказал он. — Копейка как копей-

ка. На ней не написано, кто дал.

Мирон пришёл к Акулине вечером, сам, без зова, в тех же рваных рукавицах, и встал в дверях, как весной, и мял шапку.

— Подьячий, — сказал он. — Ты сказал московскому?

— Сказал.

— А он?

— Сказал: знаем.

Мирон долго стоял, соображая.

— Знают, — сказал он наконец. — Ну и ладно. — Он постоял ещё. — А мне что будет?

— Ничего, — сказал Ершов. — Он так сказал.

Мирон перекрестился. Потом, не уходя, сел на лавку у двери, на край, и положил шапку на колени.

— Подьячий, — сказал он. — Я надумал. Агафье.

Ершов взял лист. Серый, Гуриев, из тех шести.

— Говори.

Мирон встал, как весной, посреди избы.

— Агафья, — сказал он. — Кланяюсь тебе. Это Мирон, Сухих, ты помнишь, я у вас за огородом жил. — Он подумал. — Слышал, что ты овдовела. Гришку жалко. Дурной был, а жалко. — Он подумал ещё. — Я служу в Казани. Жалованье дают. — Он помолчал. — Медью. Это не пиши.

Ершов не написал.

— Пиши: дают, — сказал Мирон. — Без меди. — Он помолчал. — А летом опять в Нижний пойду, с отписками. Мо-

жет, и до вас дойду. Если сапоги будут.

Он остановился. Посмотрел, как Ершов пишет.

— Подьячий, — сказал он. — Про сапоги вычеркни. Не надо, чтоб знала.

Ершов поднял перо.

— Или нет, — сказал Мирон. — Не вычёркивай. — Он почесал под шапкой. — Ты ж, говорят, не вычёркиваешь. Весь город говорит: в польском письме про тебя написано, что ты не вычёркиваешь. — Он посмотрел на Ершова с уважением и некоторой опаской. — Я и подумал: раз про тебя поляки пишут, ты и Агафье лучше напишешь.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Лекарь

Про то, что лекарь ходит по ночам, Ершову сказал Акулинин племянник, стрелец, тот самый, что летом стоял у клети и щёлкал орехи. Теперь он стоял у Тайницких ворот, в ночном карауле, через две ночи на третью, и скучал.

— Немец ходит, — сказал он. — После повечерия. С мешочком. Через Тайницкие, вниз, к Казанке, потом к Булаку. Раньше, говорит, ходил к воеводе в хоромы, а теперь к воеводе днём, а ночью — вниз.

— Часто?

— Как я стою — так и ходит. — Стрелец подумал. — Может, и как не стою. Я ж не знаю.

— Пропускаешь?

— А как не пропустить? Немец воеводский. Скажет воеводе — меня на конюшню. — Стрелец вздохнул. — Он мне ещё, как идёт, говорит: здравствуй, Фёдор. По имени. Где он моё имя взял — не знаю.

Пасынков выслушал это, не отрываясь от росписи.

— Сходи за ним, — сказал он.

— Один?

— С толмачом. Толмач у тебя по-польски не умеет, зато по ночам ходить умеет. — Пасынков поднял глаза. — Не трогай его. Посмотри, куда ходит. Вернёшься — скажешь.

Ночь была сырая, без луны, с мелким снегом, который не

ложился, а таял в воздухе и висел на всём каплями. Ершов и Ибрагим стояли под стеной у Тайницких, в тени, и Фёдор, стрелец, стоял у ворот и не смотрел в их сторону так старательно, что любой бы понял, что там кто-то стоит.

Лекарь вышел после повечерия, как Фёдор и сказал. Высокий, сутулый, в длинном тёмном плаще, с мешочком на поясе и с фонарём, в котором горела сальная свеча. Он сказал Фёдору: «Здравствуй, Фёдор», — и Фёдор ответил: «Здравствуй, господин дохтур», — громко, как на смотру. Лекарь прошёл в ворота и пошёл вниз.

Шёл он быстро, длинными шагами, не оглядываясь, и Ершову с Ибрагимом пришлось почти бежать, чтобы не потерять фонарь. Фонарь качался впереди, внизу, по склону, потом пошёл вдоль Казанки, к устью Булака, через мостки, потом налево, вдоль воды, где стояли кожевни и откуда даже ночью, даже в холод, так несло, что Ибрагим зажал нос рукавом.

— Кожевенная, — сказал Ибрагим в рукав. — Зачем немцу кожевенная?

Фонарь остановился у низкой избы на краю слободы, почти у самой воды. Лекарь постучал, не в дверь, а в окно, коротко, два раза, и дверь открыли, и фонарь ушёл внутрь, и дверь закрылась.

Окно было затянуто бычьим пузырём, и через пузырь было видно только свет, жёлтое пятно. Ершов подошёл ближе. Ибрагим остался у угла.

Из избы слышались голоса. Мужской, лекарев, — ровный, тихий, на каком-то языке, не русском и не немецком. И женский — быстрый, захлёбывающийся, на том же языке. И ещё один, тонкий, детский, который не говорил, а кашлял: долго, с присвистом, так, что Ершов, стоя у стены, сам захотел откашляться.

Потом женский голос заплакал, а мужской продолжал говорить, так же ровно, будто ничего не случилось, и Ершов понял, что это не беда, а наоборот: так плачут, когда беда отступила.

Он стоял у стены долго. Снег висел на ресницах. Ибрагим у угла переминался с ноги на ногу.

Дверь открылась через час. Вышел лекарь, без фонаря, фонарь он, видно, оставил там. За ним вышла женщина, худая, в одной рубаше и в платке, накинутом на плечи, и стала говорить ему что-то быстро, и хватала его за руку, и он руку отнимал, а она хватала опять. Потом она сунула ему что-то в руку, маленькое, и он посмотрел, покачал головой и отдал обратно. Она опять сунула. Он опять отдал.

Потом он сказал что-то, коротко, и она перестала совать. И сказала, отчётливо, так, что Ершов разобрал:

— ...пани Ганна...

И ещё что-то, чего Ершов не понял.

Лекарь кивнул и пошёл, в темноте, без фонаря, обратно к мосткам, и шёл теперь медленно, держась рукой за стены, потому что ничего не было видно.

Ершов подошёл к углу.

— По-каковски говорили? — спросил он.

— Не по-татарски, — сказал Ибрагим. — Не по-чувашски. — Он подумал. — По-ихнему. По-литовски, должно быть. Или по-польски. Я их не различаю. — Он помолчал. — Баба сказала: Ганна.

— Слышал.

— Пани Ганна, — сказал Ибрагим. — Пани — это у них барыня.

Они пошли за лекарем, но не близко: лекарь шёл медленно, спотыкался, один раз упал на колени и долго вставал. На мостках через Булак он остановился, постоял, держась за перила, и Ершов слышал, как он кашляет — так же, как кашлял тот ребёнок, только глуше.

У Тайницких Фёдор сказал ему: «Здравствуй, господин дохтур», — и лекарь ответил: «Здравствуй, Фёдор», — и прошёл внутрь.

— Ребёнок, — сказал Ершов Пасынкову утром. — В кожевенной слободе, у воды, изба полоняничья. Баба литовская, при ней ребёнок, кашляет. Он к ним ходит лечить.

— Ты видел, что лечит?

— Слышал.

— Слышал, — повторил Пасынков. — А что ещё он там делал — ты слышал? Пока лечил?

— Говорил.

— О чём?

— Не знаю. Не по-нашему.

Пасынков кивнул.

— Вот, — сказал он. — Ходит ночью к полону, говорит не по-нашему, с бабой, которая называет пани Ганну. — Он встал. — Общем.

Обыскивали в тот же день, к полудню, когда лекарь был у воеводы. У лекаря были две горницы в воеводском дворе, в нижнем жиле, с отдельным крыльцом во двор. В одной он спал. В другой держал лекарский запас: полки до потолка, на полках склянки, коробки, мешочки, ступки, весы, связки сухой травы под потолком, и пахло так, что у Ершова сразу защипало в носу, а Ибрагим, которого на этот раз взяли, вышел обратно на крыльцо.

Пасынков стоял посреди горницы и смотрел на полки.

— Тут на год искать, — сказал он.

— Бумаги, — сказал Ершов. — Бумаги он в лавке брал. Хорошие. Много.

Бумаги нашлись в сундуке, под кроватью, в спальнй горнице, и их действительно было много. Книга, толстая, в коже, исписанная по-латыни, мелко, ровно, столбцами. Пачка рецептов, тоже на латыни. Пачка писем, на немецком, в одну руку, свёрнутых, перевязанных. И отдельно, в холстине, ещё одна тетрадь, тоньше, и в ней тоже столбцы, но столбцы другие: не латынь, а что-то похожее на польское, и рядом русскими буквами, и рядом числа.

Пасынков полистал тетрадь, ничего не понял, передал Ер-

шову. Ершов тоже ничего не понял, кроме чисел и нескольких русских слов: «кожевенная», «у Зилантова», «на кружечном», «у Спасского».

— Места, — сказал Ершов. — Слободы. Дворы.

— Где полон роздан, — сказал Пасынков. Он взял роспись из-за пазухи, ту часть, что носил с собой, развернул. — Кожевенная. Зилантов. Кружечный. Спасский. — Он посмотрел на Ершова. — Он полон по дворам переписал. Сам. Свою роспись завёл.

Лекарь пришёл, когда они ещё не кончили. Он остановился в дверях спальни горницы, увидел открытый сундук, книгу в руках у Пасынкова, тетрадь в руках у Ершова. Лицо у него не изменилось. Он только снял шапку и положил её на кровать, аккуратно, будто пришёл домой и это было самое главное, что надо сделать.

— Это болезни, — сказал он.

— Что?

— Тетрадь. — Лекарь показал. — Это я пишу, кто болен. Имя. Где живёт. Чем болен. Чем лечил. Сколько дал. — Он подумал. — По-латыни название болезни. По-польски имя, как они сами говорят. По-русски — место, чтобы найти. Числа — сколько дал.

— Чего дал?

Лекарь помолчал.

— Лекарства, — сказал он.

— Чьи лекарства? — спросил Пасынков.

Лекарь посмотрел на полки в соседней горнице, через открытую дверь.

— Государевы, — сказал он. — Мне их выдали из Аптекарского приказа. Для воеводы. Для воеводского двора. Для ратных людей, если поранятся. — Он помолчал. — Полону не велено. Полону лекарь не положен. Их хозяева должны лечить, кому роздали. Хозяева не лечат. У хозяина своих детей десять, будет он полоняничьего лечить. — Лекарь сложил руки за спиной. — Я брал из государственного запаса. Немного. Это кража. Пишите.

Ершов посмотрел на Пасынкова. Пасынков смотрел на лекаря.

— Сколько брал?

— Там написано, — лекарь кивнул на тетрадь. — Каждый раз. Я пишу всё.

Пасынков взял у Ершова тетрадь, полистал ещё раз. Остановился. Показал пальцем на одну строку.

— Это что?

Лекарь наклонился, прочёл.

— Ребёнок, — сказал он. — В кожевенной. У Марыни. Кашель. Плохой кашель. Я думал — умрёт. Не умер. — Он выпрямился. — Вчера я был там. Вы, наверно, знаете. Ваш человек стоял под окном. — Он посмотрел на Ершова. — Вы громко стоите, господин подьячий. Под окном лужа.

Ершов ничего не сказал.

— Кто тебе сказал про ребёнка? — спросил Пасынков.

— Пани Ганна, — сказал лекарь. — У Кондратьевой. Она знает, кто болен. Они ей говорят. Она одна из них по-русски пишет и одна ходит по городу с хозяйкиными делами. Она мне говорит: там болен, там болен. Я иду. — Он помолчал. — Она мне не платит. И они мне не платят. Марыня мне вчера давала крестик, серебряный. Я не взял. — Он подумал. — Это тоже пишите. Что не взял.

Пасынков долго молчал. Потом взял пачку немецких писем.

— А это?

— Брату. В Данциг. — Лекарь посмотрел на письма. — Он аптекарь. Я ему пишу, чего у нас нет, а роспись посылаю в Аптекарский приказ. Что купят — приходит через Архангельский город, с голландскими и гамбургскими кораблями. В приказе про мои письма знают. Можете спросить.

— Спрошу, — сказал Пасынков. Он развязал пачку, вынул верхнее письмо, развернул. — По-немецки я не читаю. Что тут?

— Что у вас холодно, — сказал лекарь. — Что дрова дорогие. Что мне нужен ревень и шафран. — Он подумал. — И что здешний воевода стал здоровее, потому что ест редьку по моему совету. Я этим горжусь. Я всем это пишу.

Пасынков посмотрел на него. Ершов тоже. Лекарь не понял, почему на него так смотрят.

— Редьку, — повторил Пасынков.

— Редьку, — сказал лекарь. — Raphanus. Очень хорошо

от желчи.

Пасынков сложил письмо. Сложил остальные. Завязал пачку и сунул под мышку. Книгу и тетрадь он отдал Ершову.

— Это у меня полежит, — сказал он про письма. — А это перепиши, — сказал он Ершову про тетрадь. — Всё. Кто где живёт, кто болен. — Он повернулся к лекарю. — А ты польски читаешь.

— Читаю.

— Будешь мне читать, — сказал Пасынков. — Что дам. — Он помолчал. — Про лекарский запас я пока писать не буду.

Лекарь посмотрел на него долго.

— Пока, — сказал он.

— Пока, — согласился Пасынков.

На крыльце Ибрагим сидел на ступеньке и дышал.

— Ну? — спросил он.

Ершов не ответил. Он смотрел, как Пасынков идёт через двор, к приказной избе, с немецкими письмами под мышкой.

— Он его взял, — сказал Ершов. — Не в клеть. Так взял. Теперь он у него читать будет.

— А за что взял?

— За то, что лечил.

Ибрагим подумал.

— Хорошо лечит? — спросил он.

— Ребёнок не умер.

— Ну, значит, хорошо, — сказал Ибрагим. — А то бы не взяли. Плохих не берут, их гонят.

Пасынков, уже у двери приказной избы, обернулся.

— Ершов, — крикнул он через двор. — Ты в тетрадь смотри внимательно. Там, где пани Ганна. Сколько раз она ему говорила — и про кого. — Он подумал. — Она одна из них ходит по городу. Он сам сказал.

И ушёл в избу.

Вечером, когда Ершов садился переписывать тетрадь, лекарь пришёл к Акулине. Сам, без стрельца, без фонаря, в своём длинном плаще. Акулина, увидев его, перекрестилась.

— Господин подьячий, — сказал лекарь с порога. — Я не про тетрадь. — Он посмотрел на правую руку Ершова, ту, что с ожогом, которую Ершов держал на столе. — Я давно хотел сказать. Вы руку чем мажете?

Ершов посмотрел на руку.

— Гусиным салом.

— Плохо мажете, — сказал лекарь. — Неровно. И мало. Кожа тянет, поэтому вы пишете крупно. — Он помолчал. — Салом мазать надо ровно. И пальцы разминать. Тогда, может, опять будете писать мельче. — Он поклонился Акулине. — Гусиного сала, хозяйка, у вас нет. Я по запаху слышу. Купите.

— Это я сама знаю, что купить, — сказала Акулина.

Лекарь ушёл. Акулина долго смотрела на дверь.

— Немец, — сказала она. — А по запаху слышит, чего у меня нет. — Она подумала. — Гусиное сало нынче почём, не знаешь?

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Под титлом

Суханова Пасынков позвал сам. Ершов его не советовал, Ершов про него даже не вспомнил. Пасынков сказал, что дьяк ему назвал Суханова как человека, который сорок лет в Казани пишет за людей и знает, кто как пишет.

— Сорок не сорок, — сказал Суханов, сядясь на лавку перед столом и ставя рядом свою медную чернильницу, хотя писать его не звали. — Тридцать два. С Филиппова поста тридцать три будет.

— Ты казанские руки знаешь? — спросил Пасынков.

— Руки знаю, — сказал Суханов. — Кто как буквы ставит. Кто как считает. — Он подумал. — Кто как врёт, тоже знаю, только это не по руке, это по лицу.

Пасынков положил перед ним список с польского письма.

Суханов посмотрел на лист, не трогая. Посмотрел долго, как смотрят на чужую лошадь, когда покупать не собираются.

— Я по-польски не читаю, — сказал он.

— Не надо читать. Смотри. — Пасынков помолчал. — Подлинника нет. Это московский список. Списан с польского знак в знак.

— Тогда руку я тебе не назову, — сказал Суханов. — Чья рука была, в Москве осталась. Тут только то видно, что переписчик сохранил.

— Числа сохранил. Как стояли. Переписчику велено было не переводить.

Суханов достал из-за пазухи очки, круглые, в медной оправе, одно стекло с трещиной, надел, и стал смотреть, наклонившись, водя носом над строчками, как собака по следу.

Ершов тоже наклонился. Он видел эти числа и раньше, в первый день, и видел, как на них показывала Ганна, но смотрел тогда на Ганну, а не на числа. Числа стояли в польских строках, как русские слова среди чужих: буквы под титлом.

— Тут вот, — сказал Суханов. — Про порох. Столько-то пудов. — Он показал, не касаясь. — Про хлеб — столько-то четвертей. Про кожи — столько-то сороков. — Он повёл пальцем дальше. — А до соли дошёл — и сколько пудов написал, и почём пуд, и сколько за всю соль выходит. Пять алтын две деньги серебром с пуда. И итог. — Он поднял голову. — Сложил. Не поленился.

— Ну и что?

— А то, что для письма последнего не надо, — сказал Суханов. — Сколько соли на струге — надо. Куда пошла — надо. Почём её продавали и сколько за весь привоз взяли — не надо. Это ему, кому писано, ни к чему. Приказный написал бы, сколько пошло и куда. А этот цену приписал.

— Алтынами с деньгами, — сказал Пасынков.

— Алтынами с деньгами и в приказах пишут, — сказал Суханов. — Не в алтынах дело. — Он снял очки. — Он всякий пуд сразу в деньги переводит. Про порох не перевёл —

порох он не продаёт. Про хлеб не перевёл. А про соль — рука сама дописала. Так человек считает, который соль покупает и продаёт. Каждый день. Он и не думал. Пуд без цены у него не пуд.

Пасынков долго смотрел на лист. Потом на Ершова.

— Соляной, — сказал он.

— Или возле соляных сидит, — сказал Суханов. — Приказчик. Ярыжка, который на весах стоит. Баба, которая книгу ведёт.

Ершов молчал.

— Солью на Бакалде торгуют сколько дворов? — спросил Пасынков у Суханова.

Суханов посчитал на пальцах, шевеля губами.

— Своих, казанских, шесть, — сказал он. — Кондратьева, Рыжов — Рыжов, правда, больше возит, чем торгует, — Сабуровы, Мясниковы, Гладышев, Ахмет Юнусов, тот татарин. И приезжие, весной. Приезжие в счёт не идут, они к зиме уезжают.

— Кто из шести по-польски пишет?

Суханов посмотрел на него снизу вверх, поверх сложенных очков.

— Из шести — никто, — сказал он. — Из шести двое и по-русски не пишут, за них приказчики. — Он помолчал. — А у Кондратьевой полонянка пишет. Это все знают.

— Все знают, — повторил Пасынков.

— Все, — сказал Суханов. — Весной Кондратьева с ней в

Гостином ряду ходила, показывала, как в лавку за бумагой. Хвасталась. — Он подумал. — Не хвасталась. Показывала. Кондратьева не хвастается. Она говорит: вот, у меня пишет. И всё.

Пасынков записал. Ершов видел, что он пишет: одно слово, короткое.

— Значит, Кондратьева, — сказал Пасынков. Не Суханову. Себе.

— Кондратьева по-польски не пишет, — сказал Ершов.

Пасынков посмотрел на него.

— Я не сказал, что пишет.

— Ты сказал «значит, Кондратьева». — Ершов помолчал.

— Счёт её. Это может быть. Пуд с ценой, с итогом — это может быть её счёт. Но по-польски она не пишет. Значит, не она писала. Писал тот, кто пишет для неё. Кто её счёт с её голоса знает.

— А с её голоса — по её велению?

— Этого я не знаю.

— И я не знаю, — сказал Пасынков. — Вот и узнаем. — Он повернулся к Суханову. — Что тебе за труды?

Суханов подумал.

— Алтын, — сказал он. — За смотрение.

— Ты смотрел четверть часа.

— Я смотрел тридцать два года, — сказал Суханов. — А четверть часа — это я вспоминал.

Пасынков дал ему алтын. Суханов взял, попробовал на

зуб, медь, вздохнул, сунул за щёку и поклонился. У двери он обернулся.

— А только я тебе вот что скажу, московский, — сказал он. — Пуд в деньги на Бакалде всякий переводит, кто с соляными год потёрся. Ярыжка, грузчик, мальчишка. У Кондратьевой и Тихон так считает. И полонянка, раз пишет за неё. И я так считаю, когда про соль. — Он подумал. — Не алтыны её выдали. Лишний счёт. Это Бакалда. Ты Бакалду не посадишь.

И ушёл.

Ганну привели к вечеру, опять с Тихоном, но без Аграфены. Тихон сказал, что хозяйка ушла к солянному приказчику Сабуровых, считаться за осенний привоз, и велела передать: если московскому её работница нужна, пусть берёт, а если нужна она сама, пусть идёт к ней, а не зовёт, как девку.

Пасынков выслушал это без выражения.

Ганна стояла посреди избы, как в прошлый раз, в Аграфенином шугае. Пасынков положил перед ней на стол два листа: список с польского письма и лист из Аграфениной книги, тот, что он взял у Кондратьевой в пятницу, — счёт за осенний привоз соли, Ганниной рукой.

— Это ты писала? — Он показал на книжный лист.

— Я.

— Как пуд писала?

Ганна посмотрела на лист.

— Как хозяйка велит, — сказала она. — Сколько пудов.

Почём пуд — пять алтын две деньги серебром. И что за весь привоз выходит. — Она помолчала. — Хозяйка говорит: пуд без цены не пиши. Пуд без цены — не счёт, а мешок.

— А в польском письме как?

Ганна посмотрела на список. Долго. Потом подняла глаза.

— Так же, — сказала она.

В избе стало тихо. Дьяк у окна перестал скрипеть пером. Ершов смотрел на Ганну.

— Так же, — повторил Пасынков.

— Так же, — сказала Ганна. — Пан Суханов, должно быть, вам сказал. Он сегодня у ворот хозяйкиных стоял, у Тихона спрашивал, почём хозяйка весной соль отдавала и сколько за весь привоз взяла. — Она чуть пожала плечами. — Ему Тихон сказал. Пять алтын две деньги серебром. И итог сказал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.